

Ольга Майорова

# Народная война и пчелиный улей:

НАЦИЯ И ИМПЕРИЯ В «ВОЙНЕ И МИРЕ»<sup>1</sup>

Olga Maiorova

People's War and Beehive: Nation and Empire in *War and Peace*

**Ольга Майорова** (Мичиганский университет, Энн Арбор; профессор кафедры славянских языков и литератур и кафедры истории; PhD) maiorova@umich.edu.

**Olga Maiorova** (PhD; Associate Professor, Department of Slavic Literatures and Languages and the Department of History, University of Michigan, USA) maiorova@umich.edu.

**Ключевые слова:** метафора «роевой жизни», национальное воображение, современный национализм, имперский дискурс, эпоха реформ, патриотическая пресса, память о войне 1812 года

**Key words:** metaphor of swarm life, national imagination, modern nationalism, imperial discourse, reform era, patriotic press, memory of the war of 1812

УДК: 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_188\_4\_87

UDC: 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_188\_4\_87

В статье анализируются символические репрезентации русского народа в «Войне и мире» и стоящие за ними философские представления Толстого 1860-х годов. Рассматривая роман в контексте центральной проблемы национального воображения XIX века — проблемы соотношения нации и империи — автор статьи сопоставляет толстовское понимание народной войны с инструментализацией памяти о 1812 году в патриотической прессе 1860-х годов и приходит к выводу, что роман Толстого полемически заострен против ключевых постулатов имперского дискурса, сложившегося в России в эпоху Великих реформ.

Focusing on Lev Tolstoy's worldview in the 1860s, this paper explores symbolic representations of the Russian people in *War and Peace* and considers the novel in the context of the nation/empire dichotomy — the central issue of the Russian nineteenth-century national imagination. The author juxtaposes Tolstoy's vision of the War of 1812 with a trope of people's war, as it was utilized by the Russian patriotic press of the 1860s, to argue that *War and Peace* challenges key tenets of the imperial discourse that took shape in Russia during the Great Reforms.

В предлагаемой статье развивается и дополняется ряд тезисов, первоначально сформулированных в моей книге «From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855–1870» [Maiorova 2010: 143–154]. Мой подход к роману Толстого объясняется центральной проблематикой книги. Известно (и убедительно продемонстрировано историками), что наднациональная политика Российской империи препятствовала формированию современной русской нации. Этот бесспорный вывод лег, однако, в основу распространенного среди исследователей убеждения, что и в сфере национального воображения русские оказались не способны отделить нацию от империи, и в итоге русская национальная идентичность была полностью поглощена идентичностью имперской. Опровергая этот тезис, я анализирую широкий

1 Выражаю глубокую признательность коллегам, поделившимся своими соображениями и впечатлениями от статьи в ходе моей работы: М.Д. Долбилову, Ю.И. Красносельской, М.А. Кучерской, В.А. Мильчиной и Л.И. Соболеву.

круг культурных практик и явлений, посредством которых в России XIX века, особенно в эпоху Великих реформ, публицисты, писатели, историки самой разной идеологической ориентации стремились сконструировать русскую идентичность и «вообразить» нацию таким образом, чтобы вывести ее из тени империи. Формирование националистического дискурса было такой же насущной задачей в России, как и в других европейских империях XIX века, при всех различиях исторических обстоятельств в разных странах. Толстой внес фундаментальный — и, конечно, оригинальный — вклад в этот процесс, хотя позднее, как известно, отверг идеи национальной исключительности, видя в них источник зла и насилия.

Воспоминания о минувших войнах — далеких и близких — занимали прочное место в литературе и журналистике 1860-х годов — в то самое время, когда Толстой работал над «Войной и миром» (1863—1869). Проигранная Крымская кампания была тогда еще свежей раной, и обращение к войнам прошлого открывало обширное поле для размышлений и спекуляций. Однако нельзя сказать, что в это время батальные сцены и сюжеты фигурировали чаще, чем прежде. Примечательным было скорее другое: военные аналогии и метафоры нередко пронизывали картины мирной жизни и служили инструментом осмысления коренных преобразований и вызовов, перед которыми стояло русское общество. Проводившиеся тогда реформы часто воспринимались как столкновение с внешним врагом, а политическая активность — как участие в войне. Выразительным примером тому может служить хроника Н.С. Лескова «Соборяне» (1867—1872), оригинальная летопись жизни небольшого уездного города. Написанная под влиянием «патриотической прессы» (термин той эпохи) — в первую очередь изданий М.Н. Каткова и И.С. Аксакова, — эта хроника несла на себе отпечаток складывавшегося тогда националистического дискурса.

Лесков, по его собственным словам, положил в основу сюжета «борьбу» лучшего из своих героев — протоиерея Туберозова — «с вредителями русского развития»<sup>2</sup>. В качестве «вредителей» фигурировали нигилисты, поляки-заговорщики и, главное, церковная и гражданская администрация, оторванная от «корней». В финальной части хроники, когда повествование приближается к трагической развязке, автор уподобляет Туберозова «изнемогшему в бою русскому витязю», которого «повсюду облегла несметная сила неверных». Застигнутый грозой в «вековом лесу», Туберозов едва не гибнет на том самом месте, где, по преданию, некогда пал от удара молнии легендарный витязь, окруженный «татарами». Здесь Туберозов решается на открытую борьбу. «Словно орлу обновились крылья!» — этой библейской цитатой (Пс. 102:5) завершается вся сцена<sup>3</sup>. Густая смесь фольклорных мотивов сочетается в этом фрагменте с библейской образностью и прозрачными евангельскими аллюзиями. Именно такие фрагменты «Соборян», скорее всего, имел в виду В.Г. Авсеенко, известный литературный критик тех лет, когда утверждал, что автор «сумел разглядеть» в русском клире «такие возвышенные свойства духа», что некоторые страницы хроники превращаются в «героическую поэму», сопостави-

2 Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 11 т. Т. 10. М.: Художественная литература, 1958. С. 279. Письмо к С А Юрьеву от 5 декабря 1870 года.

3 Там же. Т. 4. М.: Художественная литература, 1957. С 223—225.

мую с «Тарасом Бульбой»<sup>4</sup>. При полном несходстве событий, изображенных в «Соборях», с военными обстоятельствами, критик усмотрел параллели с «героической поэмой» Гоголя.

«Вредители русского развития», с которыми сражается Туберозов, — это легко опознаваемая формула националистического дискурса 1860-х годов, эвфемизм для «антирусских» сил, под которыми могли подразумеваться в зависимости от контекста самые разные группы, от революционного подполья до высшей петербургской бюрократии. «Нельзя отрицать, — утверждает передовая статья «Московских ведомостей» Каткова, — что в России существуют враждебные к ней элементы, причем не только на окраинах, но и в недрах ее»<sup>5</sup>. Когда началось восстание в Польше (1863—1864), в патриотической прессе стали широко циркулировать параллели с народными войнами прошлого, особенно со Смутным временем. Русская земля «закипает старинною злобой к ляхам» — подобные фразы почти ежедневно появлялись на страницах «Московских ведомостей»<sup>6</sup>. В «Соборях», как показывает черновая рукопись хроники, Лесков тоже пытался работать с этими историческими ассоциациями:

Мы слышим звон и шелест под [всею русскою] землею. То Минин Сухорук проснулся и встает в своей могиле, то звон меча, который вновь берет, и им препоясуетя Пожарский. Вставай, наш русский князь, и рассеки мечом на разуменьи нашем стянутый чужих хитросплетений узел! Восстань нижегородец Минин и научи твоих внучат вменить себя в ничто перед величьем Руси!<sup>7</sup>

Подобные аналогии со Смутным временем сложились, как известно, задолго до 1860-х годов. Занявшие центральное место в национальной мифологии еще в начале XIX века, в ходе антинаполеоновских войн, и затем вновь разработанные и прочно утвердившиеся в годы предыдущего Польского восстания (1830—1831) [Зорин 2001: 157—186; Киселева 1997], основные сюжеты и фигуры, связанные со Смутным временем, опять вошли в оборот в эпоху Великих реформ, и, как правило, культивировались в связке с памятью о войне 1812 года [Maioiova 2010: 94—127]. «Выдвигайся же, русская земля, — восклицал Аксаков в разгар Польского восстания, — вызывай из глубины твоих недр все твои потаенные богатства, все ключи живой целебной силы... скликай ты, как в 1812 году,

- 
- 4 *Авсеев В.Г.* Загадочный талант // Н.С. Лесков в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, публ. воспоминаний О.А. Фрибес и др., коммент. Л.И. Соболева; публ. фрагментов дневника С.И. Смирновой-Сазоновой и коммент. к ним Л.С. Даниловой и В.В. Соминой; предисл. А. Ранчина. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 354. Впервые напечатано в газете «Русь» (1904. № 155, 161. 19, 25 мая).
  - 5 [Георгиевский А.И.] Московские ведомости. 13 января 1865 г. № 9 // Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей» за 1865 год. М.: Изд. С.П. Катковой, 1897. С. 23. О настоящем авторе этой статьи, ее политической подоплеке и участии Ф.И. Тютчева см.: *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам / Публ. К.В. Пигарева; предисл. и коммент. Л.Н. Кузиной // Литературное наследство. Т. 97. Ф.И. Тютчев / Отв. ред. С.А. Макашин, К.В. Пигарев, Т.Г. Динесман. Кн. 1. М.: Наука, 1988. С. 389 (примеч. 4).
  - 6 *Щебальский П.К.* Наши космополиты // Московские ведомости. 1863. № 51. 7 марта.
  - 7 Литературное наследство. Т. 101. Неизданный Лесков / Отв. ред. К.П. Богаевская, О.Е. Майорова, Л.М. Розенблюм. Кн. 1. М.: Наследие, 1997. С. 120. В 1870-е годы политическая позиция Лескова изменилась, и он отдалился от круга Каткова.

не одни только внешние и вещественные силы, но силы русского духа»<sup>8</sup>. Впитав и переработав сложившуюся историческую мифологию, патриотическая пресса 1860-х годов использовала память о народных войнах, оттачивая новую, модерную концепцию нации, предполагавшую «русификацию» империи — проект, о котором пойдет речь далее.

Как в этой перспективе звучит главный в русской литературе роман о народной войне, написанный в те же годы? Может ли сопоставление с патриотической прессой тех лет уточнить наши представления о том, как нация и империя воображены в «Войне и мире»? Пытаясь ответить на эти вопросы, я сначала сосредоточусь на символических репрезентациях русского народа в «Войне и мире» и на стоящих за ними философских построениях, а затем постараюсь осмыслить роман в контексте националистического дискурса 1860-х годов и показать, какое место в глазах Толстого русский народ занимает в огромном имперском пространстве.

В годы создания «Войны и мира», как, впрочем, и позднее, Толстой исходил из примата интуиции, инстинкта, спонтанного и импульсивного начала в человеке<sup>9</sup>. Эти умонастроения находили отточенные формулировки в его дневниковых записях тех лет: «Всё, всё, что делают люди — делают по требованиям всей природы. А ум только поддельывает под каждый поступок свои мнимые причины, которые для одного человека называет — убеждения — вера и для народов (в истории) называет *идеи*»<sup>10</sup>. Не удивительно, что биологические сравнения и тропы пронизывают «Войну и мир». Казаки и мужики «побивают» неприятеля «так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку» (XII, 123). Отступление наполеоновского войска ничем не отличается от «предсмертных прыжков и судорог смертельно раненого животного» (XII, 90). Среди множества подобных сравнений образ роевой, инстинктивной жизни насекомых — пчел и муравьев — занимает в «Войне и мире» особое место. Рой символизирует в романе людские массы и становится центральной метафорой русского народа<sup>11</sup>.

- 
- 8 Аксаков И.С. Наше спасение от полонизма в народности // Аксаков И.С. Полное собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. М.: Тип. М.Г. Волчанинова (быв. М.Н. Лаврова и К°), 1886. С. 67. Первоначально статья была напечатана без названия как передовая газеты «День» (1863. № 21. 25 мая).
- 9 Анализ «Войны и мира» в связи с толстовским пониманием инстинктивного и рационального в природе человека см.: [Орвин 2006: 110—158]. Более широкое обсуждение взглядов Толстого в этот период см.: [Фойер 2002].
- 10 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. XLVIII. С. 52—53 (запись от 3 марта 1863 года). Курсив оригинала. В дальнейшем все ссылки на это издание даны в тексте с указанием тома и страницы.
- 11 «Роевая жизнь» — емкая и пластичная метафора, ускользающая от однозначной интерпретации. Она соотносится в романе не только с русским народом, но и с «общей», «стихийной» жизнью человечества, и с частной, семейной жизнью героев, и, как увидим, с законами исторического развития. В дневниках и письмах Толстой тоже находил этой метафоре разные применения, ассоциируя «роевую жизнь» то с политикой (см. неотправленное письмо Ю.Ф. Самарину от 10 января 1867 года: LXI, 157—158), то с мыслительным процессом, прежде всего с работой собственного творческого воображения (см. запись от 18 июня 1863 года: XLVIII, 54—55), то с гармоничным мироустройством (см. об этом: [Miller 2010: 57—58; Newlin 2012: 367—368]). В этой статье я фокусируюсь главным образом на тех аспектах романа, где Толстой наделяет метафору роевой жизни национальными обертонками, поскольку именно этот смысловой слой мне представляется наименее изученным.

Начиная с Античности пчелы и муравьи — «биологические и поэтические родственники» — часто фигурировали в литературе как живая эмблема сплоченного, хорошо организованного, если не идеального, социума [Hollingsworth 2001: xiii, 21, 23]<sup>12</sup>. Однако в романе о народной войне Толстого занимала не гармония роевой жизни, не патриархальный рай, но кризисы, катаклизмы и, главное, коллективные ответы на эти вызовы, в конечном итоге — движение истории. Он поставил перед собой амбициозную задачу найти «общие стихийные законы», управляющие как природными, так и историческими процессами (XIV, 124—126). Для осуществления этого замысла роевая жизнь служила идеальным предметом рефлексии. В черновике романа Толстой прямо утверждал, что общество людей — это «целый организм, подчиненный таким же законам, как организм улья и муравейника» (XIV, 124).

Сравнения людей с насекомыми рассыпаны по всему роману. Иногда это лишь беглые упоминания, мгновенные и единичные ассоциации. Московские дворяне, «как пчелы на весеннем пролете», снуют по Английскому клубу в ожидании торжественного обеда в честь Багратиона (X, 16). Русские солдаты, «как муравьи из разоренной кочки», «в разных направлениях» бегут по улицам Смоленска под французскими ядрами (XI, 118). В философских отступлениях тоже фигурируют насекомые: автор размышляет о «бессознательной, общей, роевой жизни человечества» (XI, 6; XII, 246). С этими рассуждениями особенно тесно связаны два фрагмента романа, где Толстой в деталях разворачивает, словно рассматривает под увеличительным стеклом, картины «роевой жизни». Оба фрагмента заслуживают пристального внимания; они представляют исключительный интерес для понимания толстовской концепции нации.

Как известно, в годы работы над «Войной и миром» Толстой, по его собственным словам, «сделался страстным пчеловодом»<sup>13</sup>. Он проводил целые дни на пасеке, изучал поведение пчел и штудировал специальную литературу [Зорин 2020: 81; Newlin 2012]. Однако семантическая многоплановость детальных картин роевой жизни в романе позволяет предполагать, что в творческом сознании Толстого они питались не только его биографическим опытом, непосредственными впечатлениями и наблюдениями, но и классическими литературными образцами. Начиная с Вергилия, в европейской традиции пчелиный улей устойчиво ассоциировался с городом. В «Энеиде» развернуто подробное сравнение Карфагена с ульем, и фраза «Всюду работа кипит» (I, 423, 436; перевод С.А. Ошерова) прославляет и слаженный труд целого пчелиного роя, и энергичные усилия множества людей, занятых возведением зданий и стен Карфагена. Метафора «город-улей» затем прочно утвердилась в римской Античности, в латинском Средневековье и в эпоху Ренессанса, став мощным, неизменно привлекательным и постоянно перерабатываемым топосом, сохранившим поразительную продуктивность и в литературе Нового времени [Hollingsworth 2001]. Характерно, что в «Войне и мире» детальные картины роевой жизни тоже проецируются на город. Сначала Москва, покинутая жителями накануне вступления в нее неприятеля, сравнивается с «домиращим,

12 Хотя и пчелиный улей, и муравейник могли служить метафорами совершенного общества, с муравьями связывались также и представления об агрессии, и поэтому позитивные коннотации нередко вытеснялись (см. об этом: [Hollingsworth 2001: 23—24]).

13 Письмо М.Н. Каткову от 28—29 октября 1864 года (LXI, 58).

обезматочившим ульем» (XI, 329)<sup>14</sup>. Затем, в конце романа, восстановление Москвы сопоставлено с возрождением «разоренного» муравейника. Интертекстуальная насыщенность обоих фрагментов требует специального изучения; эта задача остается за рамками настоящей статьи. Однако некоторые литературные источники представляются особенно значимыми для нашей темы.

Комментаторы романа давно предположили, что сравнение москвичей, покинувших город, с пчелиным роем Толстой позаимствовал из басни И.А. Крылова «Ворона и курица» (1812): «Тогда все жители, и малый и большой. / Часа не тратя, собралися / И вон из стен московских поднялися, / Как из улья пчелиный рой» [Соболев 2012, II: 191]. Написанная в разгар Отечественной войны, басня действительно могла привлечь внимание Толстого, вызывая его интерес не только как художественный текст, но и как драгоценный документ эпохи. Однако сам по себе древний топоним «город-улей», которым воспользовался Крылов, развернут в романе с таким драматизмом и в таком нарративном ключе, что побуждает связывать картины роевой жизни в «Войне и мире» скорее с первоисточником этого топонима — с поэмой Вергилия.

В черновиках «Войны и мира» есть отсылка к «Энеиде». В захваченной неприятелем Москве Пьер беседует с французским офицером Мельвилем, которого позднее, при переработке текста, Толстой превратит в знакомого нам капитана Рамбаля. Угощая француза вином, Пьер полуслуша цитирует Вергилия, обыгрывая классический пример коварства на войне:

Пьер налил стакан Мельвилю, но француз предложил Пьеру выпить с ним вместе.

— Timeo Danaos et dona ferentes [Боюсь данайцев и дары приносящих]<sup>15</sup>, — сказал Пьер, улыбаясь.

— О нет, напротив, — отвечал Мельвиль, поспешно выпивая свой стакан... <...>

Как бы экзаменуя друг друга вследствие цитаты из Вергилия, они заговорили о римском поэте, потом о Корнеле и его трагедиях, которые оба одинаково любили (XIV, 431).

Беседа двух образованных европейцев и напоминание о Троянской войне воскрешает мир античного эпоса, причем сразу Гомера и Вергилия, поскольку в процитированных Пьером словах Лаокоона «Энеида» отсылает к знаменитому эпизоду из «Одиссеи» о троянском коне. Незадолго до начала работы над романом, 3 января 1863 года, Толстой записал в дневнике: «Эпический род мне становится один естественен» (XLVIII, 48). В дальнейшем он не раз сравнивал «Войну и мир» с «Илиадой» [Соболев 2012, I: 46–47]. В этой перспективе ориентация на топоним, восходящий к другой эпической поэме, к «Энеиде» (где к тому же продолжен и развит гомеровский эпос), выглядит тем более уместной, что в романе Толстого сравнение Москвы с ульем разрастается, как это и характерно для эпического полотна, во вставной эпизод, оттеняющий, дополняющий и даже драматизирующий основное действие<sup>16</sup>. В самом деле,

14 В текстологически наиболее выверенных изданиях «Войны и мира» орфография слова «обезматочивший» отличается от общепринятой («обезматочевший»); в настоящей статье сохраняется идиосинкратическая орфография Толстого.

15 «Энеида» (II, 49).

16 В дальнейшем, изъяв эксплицитную ссылку на «Энеиду» из текста «Войны и мира», Толстой, как представляется, лишь замаскировал значимость поэмы Вергилия для своего романа (такая стратегия в принципе характерна для Толстого при переработ-

рассказ Толстого о том, как «пчелы-грабительницы» «быстро и украдисто» шныряют в «домирающий» улей (XI, 330), предвосхищает сцены в «обреченной» Москве, когда во время отступления русской армии «солдаты-грабители» «украдчиво и молчаливо» тащат товары из торговых лавок (XI, 332). «Ссохшиеся» пчелы, бродящие по угасающему улью бесцельно, «потеряв сознание жизни» (XI, 330), — эти описания предвзвешивают рассказ о растерянных жителях Москвы, хаотически мечущихся по опустевшему городу. И наконец, картина бессмысленной агрессии в улье — «толпа пчел», «давя друг друга, нападает на какую-нибудь жертву и бьет и душит ее» (XI, 331) — это почти буквальная параллель к развернутой вскоре жуткой сцене убийства Верещагина<sup>17</sup>.

Читая «Войну и мир» (по-видимому, как раз сцены в опустевшей Москве), А.К. Толстой находил смехотворным стремление автора

доказать, что... все без исключения действуют как сомнамбулы, не зная, ни куда они идут, ни чего хотят. Это особенно заметно — добавлял он, — в эпизоде с Ростопчиным и Верещагиным. <...> Ростопчин отдает Верещагина на растерзание *потому что не в духе*. Это уж слишком, здравого смысла тут вовсе нет. Бедный Толстой так боится всего великого, что прямо предпочитает ему смешное<sup>18</sup>.

Иронизируя над романом, поэт, однако, точно угадал авторское намерение акцентировать бессознательное — «общие стихийные законы», управляющие коллективными организмами в природе и в обществе. Классический топос «город-улей» послужил идеальной оправой для этого замысла, став емким образом, где естественная история сливается с историей людей.

Город-улей — это облеченная в живую плоть историософия Толстого. Как известно, согласно его фаталистической концепции, историческое событие складывается из взаимодействия «бесчисленного количества людских произволов» (XI, 267); взятые в совокупности, эти «произволы» дают «результати-

---

ке вариантов текста). Не углубляясь в эту тему, рискну предположить, что аллюзию на «Энеиду» можно усмотреть и в сцене Наполеона, обозревающего Москву с Поклонной горы в ожидании «депутации бояр» (XI, 326). Эней тоже наблюдает за жизнью Карфагена с холма, и здесь, как и у Толстого, герой поглощен открывающейся ему красотой зрелища, причем в обоих произведениях (хотя и совершенно по-разному) проникновение в чужой город связано с мотивом обладания женщиной. Другого рода соображения о «Войне и мире» в связи с «Энеидой» см.: [Гриффитс, Рабинович 2005: 222—223, 228].

17 В этих эпически развернутых сравнениях Толстой, конечно, мог опираться не только на «Энеиду», но и на массу литературных текстов разных жанров, в которых разрабатывалась богатая метафорика пчелиного роя, начиная от «Георгик» Вергилия (IV книга) до «Потерянного рая» Мильтона, не говоря уже о Библии. В каждом случае найдутся аргументы, подтверждающие такие интертекстуальные связи. И все-таки топическое гнездо «город-улей» мне представляется особенно релевантным для «Войны и мира». Характерно, что именно этот топос и позднее оставался продуктивным в русской литературе, особенно в исторических романах, так или иначе ориентированных на «Войну и мир». Я имею в виду «Белую гвардию» М.А. Булгакова («Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город» (*Булгаков М.А. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 217*)) и «Бич Божий» Е.И. Замятина («...город... гудел, как улей» (*Замятин Е.И. Мы: романы, повести, рассказы, сказки. М.: Современник, 1989. С. 509*)).

18 Толстой А.К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1964. С. 271—272 (письмо к Б.М. Маркевичу от 26 марта 1869 года). Курсив оригинала. Перевод с французского А.В. Федорова. Подробнее см.: [Соболев 2012, I: 158].

рующий вектор», который в конечном итоге осуществляет волю Провидения. Разворачивая метафору «домирающего улья», Толстой ввел в повествование фигуру пчеловода, и если пчелы у него символизируют людей, то пчеловод — риску предположить — персонафицирует высшие силы. Стоя над ульем и вглядываясь в него сверху вниз, пчеловод охватывает взглядом все происходящее. Он проникает и в коллективную жизнь роя, и в действия, даже в сознание отдельных пчел. Главное, именно пчеловод решает судьбу улья и определяет сроки его гибели. После тщательного осмотра он «закрывает колодезю, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее» (XI, 327—328). Эта отметка мелом — буквальное предначертание судьбы — переключается с убежденностью автора романа в том, что сожжение Москвы было неизбежно, предсказуемо и предопределено всем ходом событий. Для Толстого пожар никак не являлся следствием чьих-либо целенаправленных усилий, будь то планы завоевателей или акт жертвоприношения, совершенного русскими с «героическим факелом» в руках (XI, 358). Косвенным подтверждением предложенной интерпретации пчеловода как воплощенной воли Провидения может служить статья Толстого «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» (1862). Рассказывая о своих педагогических экспериментах — опыте пробуждения у детей интереса к художественному письму — Толстой признавался, что его мучили угрызения совести: «...мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве» (VIII, 307). В чем заключалось «святотатство», он объяснил с помощью метафоры улья: «Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного» (Там же). Будто специально для будущих комментаторов «Войны и мира», в педагогической статье Толстой представляет проникновение в тайную жизнь пчелиного улья как прерогативу высших сил. Если принять предложенную интерпретацию пчеловода как персонафикацию Провидения, то получается, что в эпически развернутом сравнении Москвы с ульем есть намек и на участие высших сил — непременных действующих лиц античного эпоса.

Все описание угасающей жизни пчелиного роя построено на контрасте двух его состояний — катастрофического настоящего и идеального прошлого. Подробные картины запустения, хаоса, распада и смерти продуманно соположены с не менее детальными картинами некогда полного жизни, здорового улья, локуса изобилия и созидания. Пчеловод видит «сотни унылых, полуживых» пчел, рассеянных «по дну и стенкам» полупустого улья, и тут же противопоставляет их «прежним сплошным... кругам тысяч пчел, сидящих спинка с спинкой и блюдущих высшие тайны родного дела» (XI, 331). При стуке в стенку обезматочившего улья оттуда доносятся лишь «разрозненные жужжания» и «нескладный... шум беспорядка», тогда как раньше, при сигнале опасности, из улья слышался «мгновенный, дружный ответ, шипенье десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев производящих этот воздушный жизненный звук» (Там же). Толстой последовательно развивает два ряда контрастных картин, где все противопоставлено: вид, цвет, запах, звук. Но эти полярные состояния Москвы-улья могут читаться не только как оппозиция трагического настоящего и идеального прошлого, но и как предвосхищение будущего возрождения, приглашение читателя, тем более читателя, знакомого с историей 1812 года, вообразить предстоящее восстановление

ние столицы. И действительно, в конце романа автор описывает возвращение русских в Москву как регенерацию коллективного организма, используя тот же классический топос города-рая, что и ранее, хотя теперь улей заменен муравейником:

Так же как трудно объяснить для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кучки, одни прочь из кучки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кучку — для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, — так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей, после выхода французов, толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кучки муравьев, несмотря на полное уничтожение кучки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего-то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кучки, — так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святыни, ни богатств, ни домов, была тою же Москвою, какою была в августе. Всё было разрушено, кроме чего-то невещественного, но могущественного и неразрушимого (XII, 211).

В основе этой драмы умирания и возрождения, как и в основе метафоры роевой жизни в целом, лежала романтическая концепция нации — представление о народе как цельном, естественно сложившемся организме, со своей историей рождения, роста, продолжения рода, угасания и регенерации. Эта концепция уходила своими корнями в учение Гердера, давшее, как известно, обильные всходы на русской почве и хорошо знакомое Толстому (Гердера упоминают и читают не только автор, но и герои «Войны и мира»)<sup>19</sup>. Последовательнее и глубже многих своих современников идеи Гердера о национальности усвоили славянофилы, воспринявшие их сквозь призму немецкого романтизма<sup>20</sup>. В 1860-е годы Толстой поддерживал заинтересованный диалог со славянофилами. Не удивительно, что он развивал свои представления о человеческом обществе как коллективном организме и обращался к метафоре роевой жизни в письме к Ю.Ф. Самарину, одному из самых видных славянофилов (LXI, 157—158)<sup>21</sup>. Гердер, как и славянофилы вслед за ним, понимал нацию прежде всего как культурно гомогенное единство. В его философии коллективная идентичность зиждется на общей для всего народа культуре — укладе жизни, обычаях, общих умонастроениях и верованиях, истории, литературе и языке. Эта уникальная культура сформирована всем народом и вместе с тем является манифестацией его духа, той самой «невещественной» субстанции, которая, по Толстому, «неразрушима» и способна приводить в действие силы

19 Обнаруженные комментаторами романа цитаты и аллюзии, связанные с Гердером, собраны в книге: [Соболев 2012, II: 47—48, 93, 204]. О том, как в «Войне и мире» отразился интерес Толстого к учению Гердера о духовном развитии личности, см.: [Steiner 2011: 91—134]. Исследования, посвященные толстовской рецепции немецкого философа, в основном посвящены идеям Гердера о бессмертии души, его метафизике, антропологии и философии истории (см.: [Steiner 2021], где максимально учтена литература вопроса), тогда как учение Гердера о национальности почти не привлекало внимания в связи с «Войной и миром».

20 В характеристике воспринятых славянофилами идей Гердера я опираюсь на книгу [Rabow-Edling 2007: 59—71].

21 Письмо от 10 января 1867 года. Толстой его не отправил адресату. См. также: [Kolsto 2005].

единения. Дух народа и национальный характер понимаются как нечто константное и неизменное, существующее поверх социальных и хронологических барьеров, постигаемое каждым членом сообщества интуитивно и ускользающее от объяснений в абстрактных категориях. Именно в таком ключе, в полном соответствии с романтической эссенциализацией народа, Толстой рассказывает, например, об оставлении и пожаре Москвы: «Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что совершилось» (XI, 279). Как и у Гердера, у Толстого это общее интуитивное знание кристаллизует народ в единое целое и определяет его действия: «... всё население, как один человек, бросая свои имущества, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства» (XI, 343). Согласно Гердеру, каждый обретает свою идентичность только как часть целого. К такому выводу, как известно, подводит своих героев и Толстой. Так, Пьер после Бородинского сражения размышляет о простых солдатах и мечтает о том, чтобы «войти в эту общую жизнь всем существом» (XI, 293).

Однако Толстой полемически заострил романтическую концепцию нации, адаптировав ее к своей философии истории. Прежде всего, он усилил роль примитивных, «животных» инстинктов в жизни народа, отлучив тем самым романтический национализм от сложившегося на его основе патриотического дискурса XIX века с характерной для этого дискурса сакрализацией национальной истории. Можно сказать, что Толстой «брутализировал» нацию как органическое целое. Даже такой центральный патриотический символ, как освобождение и восстановление Москвы в 1812 году, не просто лишен в романе героического ореола, но максимально приземлен, переведен на язык грубых инстинктов: «Побуждения людей, стремившихся со всех сторон в Москву, после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные, и в первое время, большею частью — дикие животные» (XII, 211). Толстой детально описывает, как «вступившие в Москву русские» — казаки, мужики, московские домовладельцы — грабят, обманывают, мошенничают, воруют, подкупают, борются друг с другом. Однако какие бы низкие побуждения ни руководили ими и как бы враждебны они ни были друг к другу, Толстой преподносит результат как обретение утраченного физического здоровья (все эти люди «с разных сторон, как кровь к сердцу — приливали к Москве», XII, 212) и тут же поясняет:

Грабеж французов, чем больше он продолжался, тем больше разрушал богатства Москвы и силы грабителей. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дольше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстанавливал богатство Москвы и правильную жизнь города (Там же).

Толстой до конца не разъясняет, каким образом центростремительные силы коллективного организма взяли верх над силами разъединения и взаимной вражды, — он оставляет пространство для необъяснимого. Но в любом случае Толстой отказывается приписывать этот результат благородству и высоким чувствам — сознательным усилиям людей. В этой перспективе изменения в символической репрезентации русских — смещение фокуса от пчел к муравьям в конце романа — кажется знаковым. Хотя в литературном воображении оба эти вида насекомых могли быть взаимозаменяемы, оба служили метафорами идеально организованного сообщества, их репутация и в жизни, и в искусстве

все-таки не была идентичной. Муравьи часто символизировали взаимную агрессию, драчливость, воинственность и алчность [Hollingsworth 2001: 23—24].

Такая риторика вызвала резкий отпор современников, хотя прямо они не обсуждали метафору роевой жизни в романе. Финал «Войны и мира» поверг в недоумение даже Н.Н. Страхова, горячего поклонника Толстого, автора самых пронизательных и восторженных рецензий на роман и в скором будущем философского собеседника писателя. Страхов, как и Толстой, мыслил нацию в органицистских категориях, но полемическая приземленность финала и отказ от эксплицитно сформулированного представления о национальном идеале его смущали: «Если бы художник закончил свою книгу философскими или какими угодно мыслями, из которых нам стал бы яснее смысл Бородинского сражения, сила русского народа, тот идеал, который нас тогда спас и живит нас до сих пор, — мы были бы довольны»<sup>22</sup>. Показателен и крайне раздраженный отзыв о «Войне и мире» известного славянофила Ивана Аксакова. Хотя ему понравилось начало романа<sup>23</sup>, Аксакова глубоко возмутило то, как Толстой изображал народную войну:

...нашлись у нас художники-реалисты, которые отрицают нравственную заслугу русского народа в пожаре Москвы 1812 года... Но это свидетельствует только о том, что нет ничего тупоумнее реализма, когда он берется судить об явлениях исторических, нравственных и вообще высшего порядка. <...> История... постигается только процессом идеализации<sup>24</sup>.

Для Аксакова роман стал примером десакрализации памяти об Отечественной войне.

Толстой писал «Войну и мир» в то время, когда у романтической концепции нации появился мощный конкурент — набиравший силу модерный национализм. В печати его главным проповедником тогда был М.Н. Катков. Если в рамках концепции Гердера национальная идентичность определялась принадлежностью к органично сложившейся культуре народа, а государство рассматривалось лишь как искусственное и окказиональное образование, внешнее по отношению к истинной жизни нации, то модерный национализм Каткова, напротив, мыслил нацию в первую очередь как политическое единство, а государство — как главный инструмент ее формирования. Стремясь адаптировать Россию к требованиям современного национализма, Катков выдвигал проекты русификации империи и власти. Он надеялся видеть русских — «государствообразующий народ», в его терминологии, — как политически доминирующую народность России и развивал идею политической нации, сплоченной на основании лояльности всех этнических групп империи не только русскому царю, но и русскому народу. Эта новая концепция, вариант национализмов западноевропейских империй (Великобритании в первую очередь), соответствовала

22 *Страхов Н.* Война и мир: Сочинение графа Толстого // Заря. 1870. № 1. С. 130.

23 11 декабря 1864 года Толстой сообщил жене из Москвы о своем чтении начальных глав «Войны и мира» (тогда «1805 года») И.С. Аксакову и А.М. Жемчужникову: «...им обоим, особенно Жемчужникову, чрезвычайно понравилось. Они говорят: прелестно» (LXXXIII, 93). Это авторское чтение состоялось до начала публикации романа.

24 *Аксаков И.С.* Речь председателя Московского Славянского Комитета на заседании 6 марта 1877 г. // Аксаков И.С. Полное собрание сочинений. Т. 1. М.: Тип. М.Г. Волчанинова (быв. М.Н. Лаврова и К°), 1886. С. 244.

духу реформ, прежде всего освобождению крепостных, — главной реформе 1860-х годов, которая, казалось, открывала возможность для крестьянской массы превратиться из «рабов» в «граждан», то есть обрести политическую субъектность<sup>25</sup>. В этой обстановке даже славянофилы, для которых государство всегда оставалось внешней силой по отношению к народу, теперь, при условии русификации государства и царской власти, видели Российскую империю как институт, способный воплощать дух русского народа и защищать его интересы. Как писал Аксаков,

степень могущества Российской империи всегда зависела и зависит от меры участия духовных сил русской народности во внешнем государственном устройстве России, от степени сближения правительства с [русским] народом... <...> Только Русью жила и держалась империя, несмотря на все преграды, положенные органическому... развитию самой Руси...<sup>26</sup>

При всех их глубинных и непримиримых расхождениях Катков и Аксаков нередко выступали единым фронтом, побуждая правительство сделать империю не столько российским, сколько русским государством<sup>27</sup>.

Начало работы Толстого над романом совпало с Польским восстанием — ключевым событием, способствовавшим формированию националистического дискурса 1860-х годов. Восстание придало новую остроту дебатам, начатым с освобождением крестьян, — дебатам о консолидации русского народа, политической субъектности масс, статусе русских в Российской империи, границах собственно русской (в отличие от имперской) национальной территории [Долбилов, Миллер 2006: 177—258]. В ходе этих дискуссий патриотическая пресса мифологизировала восстание как внешнюю угрозу России и как «новый 1812 год». Целый ряд обстоятельств, связанных с событиями в Польше, позволял раздувать параллели с Отечественной войной: дипломатические кампании западных держав, осуждавших Петербург за кровавые расправы с инсургентами и требовавших уступок Польше; широко циркулировавшие слухи о надвигающейся европейской войне; печатавшиеся в газетах рассказы о русских крестьянах, самовольно бравшихся за оружие и победоносно «побивавших» поляков<sup>28</sup>. В этой обстановке патриотическая пресса стремилась инструментализировать память о победе над Наполеоном, чтобы продвигать свои проекты национального строительства.

В изданиях Каткова и Аксакова, так же как и в официальной историографии Отечественной войны, 1812 год славили как время консолидации власти и народа перед лицом врага, имея в виду прежде всего верность царю, традиционный монархический патриотизм. Этот стереотип очевидным образом абсолютно чужд Толстому. В «Войне и мире» именно в ходе народной войны беспомощность государственной власти становится особенно явной, а способ-

25 О развитии современного национализма в России см.: [Миллер 2000]. О Каткове как идеологе имперского национализма см.: [Майорова 2010: 94—127; Renner 2003].

26 Аксаков И.С. Где органическая сила России? // Аксаков И.С. Полное собрание сочинений. Т. 2. М.: Тип. М.Г. Волчанинова (быв. М.Н. Лаврова и К°), 1886. С. 219—220. Первоначально эта статья была опубликована без подписи и заглавия, как передовая газеты «День» (1864. № 40. 3 октября).

27 Подробное сопоставление позиций Каткова и Аксакова см.: [Майорова 2010: 99].

28 См. об этом подробнее: [Майорова 2010: 94—127, 130—143].

ность масс действовать самостоятельно, независимо от любых механизмов управления, выступает на первый план. Как известно, писатель утверждал, что «нигде человек не бывает свободнее, как во время сражения, где дело идет о жизни и смерти» (XI, 81). После вторжения неприятеля, когда русская земля становится полем битвы, все люди — не только солдаты — обнаруживают себя в спонтанных и инстинктивных действиях, и массы становятся зримым субъектом истории. Пока «историческое море» спокойно, каждый «правитель-администратор» полагает, что он управляет «кораблем народа». Но «стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом...» (XI, 344—345). Подобные пассажи обычно связывают с толстовской критикой «культы великих людей». Однако Толстой преследовал более амбициозную задачу. Восходящее к Гердеру скептическое отношение к роли государства в жизни нации преобразовалось под пером Толстого в воинственное недоверие к правительствам, политическим лидерам и институтам. В разгар народной войны различные персонажи и группы персонажей могут вести себя по-разному, но когда речь идет об огромных массах людей, об «общей», «роевой жизни», они либо действуют вопреки распоряжениям властей (как в истории оставления Москвы), либо опережают приказы (партизанская война начинается задолго до ее официального одобрения), либо кооперируются с властью, но только потому, что власть выражает их волю (это случай Кутузова и армии) — и в любом случае нация выходит из тени государства.

Толстому претил не только традиционный монархический патриотизм — преданность народа царскому престолу — как основа национальной консолидации. В равной степени ему были чужды и попытки патриотической прессы развивать современные проекты национального единства, побуждая верховную власть «русифицироваться». С этой целью Катков и Аксаков представляли 1812 год как ключевой исторический опыт, когда перед лицом внешнего врага царь внезапно осознал себя русским и примкнул к своему народу. В глазах обоих публицистов это был краткий, но поучительный момент, когда Александр I, казалось, отказался от традиционного династического космополитизма и наднациональной политики. Катков утверждал, что обычно Александр I потворствовал польскому сепаратизму, но в 1812 году все изменилось: царь увидел поляков сражающимися на стороне наполеоновской армии и прекратил их поддерживать (хотя и ненадолго)<sup>29</sup>. Аксаков формулировал сходные идеи несколько иначе, в русле типичной для славянофилов риторики: «Стоит только русскому императору отпустить себе бороду — и он непобедим», — эти слова Аксаков приписывал Наполеону, отдавая должное проницательности французского императора, и добавлял: «Едва ли нужно объяснять, что под символом бороды разумеется здесь образ и подобие русского народа, в значении его духовной и нравственной исторической личности»<sup>30</sup>. В течение всего XIX века

29 Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей» за 1863 год. М.: Изд. С.П. Катковой, 1897. С. 477—485 (Московские ведомости. 1863. № 185. 24 августа; № 186. 25 августа).

30 Аксаков И.С. В чем сила России? // Аксаков И.С. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 148. Написанная во время Польского восстания и предназначавшаяся для газеты «День» (1863. № 26. 29 июня), эта статья, видимо, не была пропущена цензурой и увидела свет позднее, в составе Собрания сочинений Аксакова.

самые разные писатели — от Ф.Н. Глинки до Ф.М. Достоевского — цитировали фразу Александра I, произнесенную в разгар наполеоновского нашествия, о том, что он «отрастит себе бороду и уйдет в леса с народом своим» (вариант: «пойдет скитаться в недрах Сибири»), «но не положит меча»<sup>31</sup>. В 1860-е годы подобные цитаты подразумевали широкий горизонт политических ожиданий, прежде всего надежду на способность монархической власти стать истинно русской, русифицировать империю и адаптироваться тем самым к запросам современного национализма.

Автор «Войны и мира» тоже вложил в уста Александра I сходные слова и даже построил вокруг них целую сцену, которая быстро, однако, перерастает в фарс и полнейшую нелепость. Получив донесение об оставлении Москвы от полковника Мишо, француза на русской службе, Александр I ведет с ним разговор на французском и почему-то горячо просит полковника, не знающего русского языка, сообщить всем российским подданным, что в случае гибели армии царь сам встанет во главе своих «любезных дворян и добрых мужиков» (*mes bons paysans*). И тут же Александр добавляет вариант уже знакомой нам фразы: «...я отпущу бороду до сих пор, и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого я умею ценить!..» (XII, 12)<sup>32</sup>. Толстой иронизирует над аффектированными фразами, величественными жестами, театральными позами царя. Вся эта сцена насквозь саркастична, ее сатирический смысл совершенно очевиден и, казалось бы, не нуждается в комментариях. Недовольный романом П.А. Вяземский считал даже, что Толстой здесь «грубо и сознательно паясничает»<sup>33</sup>. Но если учесть, что в рассказе о аудиенции у Александра автор «Войны и мира» работает с устойчивой идиомой патриотического дискурса, становится ясным, что за этим комическим эпизодом просвечивает широкий полемический подтекст: идея русификации царской власти явно была чужда Толстому.

Противостояние «Войны и мира» националистическому дискурсу 1860-х годов выступает с особой наглядностью, если присмотреться к тому, как дихотомия империи и нации воображена в романе. Прежде всего, показательно, как Толстой рисует начало наполеоновского нашествия. И официальная историография Отечественной войны, и патриотическая публицистика 1860-х годов утверждали, что вторжение Наполеона — переход *la Grande Armée* через Неман — немедленно вызвало в русском обществе единодушное негодование и всплеск воинственных настроений; при этом «Московские ведомости» обычно проводили параллели с патриотическим возбуждением в ответ на Польское

31 Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М.: Военное издательство, 1987. С. 43 (первые напечатаны в 1815—1816 годах); Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 25. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1983. С. 98 (апрельский выпуск «Дневника писателя» за 1877 год).

32 О работе Толстого с историческими источниками этой сцены см.: [Соболев 2012, I: 111—114].

33 Письмо П.А. Вяземского к П.И. Бартеневу от 9 марта 1869 года: Литературное наследство. Т. 114. Переписка П.А. Вяземского и П.И. Бартенева (1865—1877) / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Л.И. Соболева; отв. ред. М.Л. Спивак. М.: ИМЛИ РАН, 2024 (в печати). Благодарю Л.И. Соболева за возможность прочитать это письмо и любезное разрешение его процитировать. Фрагмент этого письма был опубликован ранее, см.: [Соболев 2012, I: 114].

восстание 1863 года [Майорова 2012]. Роман Толстого совершенно недвусмысленно заострен против этого стереотипа. В «Воине и мире» разворачивается альтернативный рассказ о первых неделях войны и отступлении русской армии. До определенного момента в романе нет ни малейшего намека на патриотическое воодушевление и ненависть к врагу. Напротив, в толстовской истории начала войны ключевым словом является «веселье». Хотя «все были недовольны общим ходом военных дел» (XI, 38—39) и отступление сопровождалось «сложной игрой интересов» в главном штабе, тем не менее для армии «весь этот отступательный поход, в лучшую пору лета, с достаточным продовольствием, был самым простым и *веселым* делом. <...> Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны» (XI, 55)<sup>34</sup>. В этом «возбужденно-веселом настроении» пребывают в начале кампании и гусары Павлоградского полка, где служит Ростов: «...сначала *весело* стояли подле Вильны, заводя знакомства с польскими помещиками...» (Там же), потом отступили к Свенцянам (ныне Швянчёнис (Švenčionys) в Литовской Республике) — стоянке, прозванной в армии «пьяным лагерем», где солдаты эскадрона Ростова перепились и мародерствовали. Описание следующей стоянки павлоградцев — это рассказ о заразительном веселье офицеров, ухаживающих за женой полкового доктора (XI, 57—60)<sup>35</sup>. Рисуя русское общество в тылу, Толстой тоже акцентирует общее «веселье». «Давно так не веселились в Москве, как в тот год», — так автор рассказывает об оживленных балах летом 1812 года (XI, 174—175). Хотя в дни визита Александра I в древнюю столицу москвичами овладело «восторженно-патриотическое настроение», сразу после отъезда императора «московская жизнь потекла прежним обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о бывших днях патриотического восторга и увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности...» (XI, 175)<sup>36</sup>. Если кто-то из персонажей заявляет свои патриотические чувства на начальном этапе войны (Жюли Карагина в письме княжне Марье или офицер, рассказывающий Ростову о подвиге генерала Раевского), все это подано в сатиричес-

34 Курсив здесь и далее мой — О.М.

35 Насколько важным было для Толстого создать картину беззаботного настроения в армии в начале войны, свидетельствует его работа с источниками, точнее, «деформация» исходного материала, по терминологии В.Б. Шкловского. Известно, что в рассказе об отступлении Толстой опирался на книгу И.Т. Радожицкого «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год» (М.: Тип. Лазаревых Института Восточных языков. 1835. Т. 1; см. об этом: [Соболев 2012, I: 86—87; II: 144]). К этой книге восходит и ряд деталей, использованных Толстым в описании веселого времяпровождения армии в первые недели войны (особенно мотив прощания с «милыми паннами», см. с. 16—21). Но у Радожицкого рассказы о веселье относятся к периоду, непосредственно предшествовавшему вторжению неприятеля, тогда как Толстой перенес их на картины «отступательного похода» сразу после вторжения.

36 В этих картинах московской жизни Толстой тоже «деформировал» исторические источники. Ясное сознание опасности и самые мрачные настроения, вызванные отступлением, нашли отражение в хорошо известных Толстому письмах М.А. Волковой к В.И. Ланской (см. особенно письмо от 1 июля 1812 года: Вестник Европы. 1874. № 8. С. 584; Толстой читал эти письма до их публикации, см.: [Соболев 2012, I: 9; II: 26—27, 154, 185]). Некоторые из этих писем прямо противоречат и страницам романа о царившем в Москве веселье. 24 июня 1812 года Волкова сообщала из Москвы: «Мы дожили до такой минуты, когда, исключая детей, никто не знает радости, даже самые веселые люди» (Вестник Европы. 1874. № 8. С. 583).

ком ключе и немедленно дискредитируется. Даже повествуя о происходивших в начале войны арьергардных столкновениях русской армии с наступающим неприятелем, Толстой объясняет эти стычки самыми разными обстоятельствами, но вовсе не патриотическим воодушевлением. Так, в рассказе об Островненском деле автор сообщает: «Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакаться по ровному полю» (XI, 99). Более того, именно после этой атаки Ростова одолевают сомнения в деле войны, хотя здесь речь идет о защите отечества от вторгшегося врага. Какое-то «неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему» при воспоминании о том, как он ударил саблей молодого француза, с его «самым простым, комнатным лицом» и «дырочкой на подбородке»: «Что-то неясное, запутанное... открылось ему» (XI, 64–65).

Однако в переживаниях героев — особенно тех, кто служит в романе камертоном искренности, — наступает поворотный момент и патриотическое чувство действительно овладевает ими, но это случается только тогда, когда война настигает их личными или семейными бедами. Тогда их реакция на войну так же инстинктивна и спонтанна, как «грозное шипение» пчел в потревоженном улье. Такие поворотные моменты наступают в разное время для различных героев. Княжна Марья не понимает значения войны до кризиса в Богучарове, когда она вдруг осознаёт, что может оказаться под властью французов: «Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться: краснеть и чувствовать еще неиспытанные ею припадки злобы и гордости» (XI, 150). В этот момент она преодолевает пределы собственной личности: «...она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами» (Там же). Для князя Андрея таким поворотным моментом становится отступление от Смоленска, когда у него просыпается «новое чувство озлобления против врага» (XI, 121). Для Пьера подобный переворот и выход за пределы своего «я» происходит на Бородинском поле, для Наташи — в Москве, в эпизоде с подводами для раненых.

Если «озлобление против врага» и осознание причастности к общему бедствию настигает каждого героя по отдельности, то обозначен ли в романе такой рубеж, после которого «чувство оскорбления и мести» (XII, 121) начинает охватывать массы и война приобретает народный характер? И если такой пороговый момент наступает, то когда и почему? В тексте романа есть совершенно определенные ответы на эти вопросы. Поворот происходит в Смоленске, и случается он потому, что только начиная от Смоленска война перенесена на собственно русские земли<sup>37</sup>. Толстой рисует отступление русской армии в начале кампании без малейшего драматизма, потому что он считает — и называет! — все пространство от Немана до Смоленска «польскими губерниями», даже Польшей, имея в виду территории, аннексированные Россией в ходе

37 Толстой здесь частично воспроизводит умонастроения очевидцев событий. О взрыве патриотического негодования в русском обществе 1812 года в связи со сдачей Смоленска см.: [Гартаковский 1996: 48–49, 100–106]. Восприятие отступления русской армии от Смоленска как движения в собственно русские земли тоже находит аналогии в свидетельствах современников и участников войны. Для Федора Глинки, например, Смоленск был «порог Москвы, в Россию двери» (см. его стихотворение «1812 год. Отрывок из рассказа», <1840>).

разделов Польши в конце XVIII века. Тем самым Толстой радикально дистанцируется от националистического дискурса 1860-х годов. В годы создания романа патриотическая пресса посвятила немало усилий тому, чтобы представить эти земли (Западный край империи) как исконно русские.

Вся западная окраина России, — разъяняли «Московские ведомости» в разгар Польского восстания, — и даже часть пограничных с нею областей искони были славяно-русскою землею. Коренное население ее составляли в южной половине племя малоросское, в северной белорусское и литовское... <...> Польша, пользуясь ослаблением московского и других русских княжеств от нашествия монгольского, начала постепенно подчинять власти своей западные области России. <...> Мало-помалу польские магнаты овладели всею почти поземельной собственностью в присоединенном к Польше русском крае...<sup>38</sup>

У Толстого, напротив, Западный край фигурирует как «польские» земли, и только рассказывая о Смоленске, автор вдруг начинает говорить о «русских губерниях» и собственно русской территории империи (XI, 38–39). Более того, все веселое, беззаботное отступление российской армии от западных пределов империи до Смоленска Толстой описывает как приближение к «русским границам» (XI, 55). И эти русские границы маркируют изменение в характере войны. После оставления Смоленска веселье сменяется общим «озлоблением», начинается партизанская война, и по мере дальнейшего продвижения наполеоновского нашествия «в глубь России» возбуждается «ненависть к врагу в русском народе» (XI, 100; XII, 120–123). Можно было бы предположить, что слова о «польских губерниях» просто отражают язык изображаемой эпохи, когда разделы Польши еще были свежи в памяти и захваченные у Речи Посполитой земли нередко назывались польскими [Долбилов 2012]. Но это предположение противоречит поэтике романа: когда в тексте появляются анахронизмы, они обычно маркированы как чужой, неавторский голос, тогда как «польские губернии» упоминаются в романе совершенно нейтрально и всегда самим автором. Здесь мы имеем дело с ярким случаем несовпадения политической и символической, точнее ментальной географии. Толстой проводит границу между территорией Российской империи и землями, которые русский народ считает своими, причем, проводя эту границу, он полемически ориентирует «Войну и мир» по отношению к фундаментальному постулату националистического дискурса XIX века — концепции большой русской нации, включающей украинцев, белорусов и нередко (как в приведенной цитате из «Московских ведомостей») литовцев.

Подводя итоги, можно сказать, что в «Войне и мире» Толстой рассказывает этноцентричную историю народной войны. Он отчетливо отграничивает территорию империи от территории нации и редуцирует, если не полностью стирает, национальную значимость тех событий 1812 года, которые разворачиваются за пределами собственно русского пространства России. Тем самым Толстой противостоит, вольно или невольно, экспансионистскому импульсу современного национализма, стремившегося «русифицировать» империю. В своем этноцентричном повествовании он заходит настолько далеко, что отождествляет военные действия русских в 1812 году с действиями «горцев на Кав-

---

38 [Б.а.] По поводу указа 1 марта // Московские ведомости. 1863. № 63. 21 марта.

казе» (XII, 121) во время российского завоевания. В этом сравнении с горцами ясно видна потребность вывести русский народ из тени империи и вообразить его как самостоятельную, не зависимую от государства силу. Толстой исходит из архаичной, романтической концепции нации, но вместе с тем он превращает русский народ в протагониста истории и тем самым отвечает на центральную потребность эпохи реформ — потребность наделить нацию политической субъектностью хотя бы в воображении. Толстого можно упрекать (в духе постколониальной критики) в том, что в романе о русском народе он был недостаточно чувствителен к имперскому измерению русской истории. С современной точки зрения такие упреки имеют смысл. Но если исходить из интенций автора и пытаться проникнуть в его замысел, то мы увидим, что Толстой «искал» русскость, не замутненную имперским грехом. И в этом можно видеть первый шаг к тому яростному отрицанию империализма, которое окрасило публицистическую мысль позднего Толстого.

## Библиография / References

- [Гриффитс, Рабинович 2005] — *Гриффитс Ф.Т., Рабинович С.Дж.* Третий Рим: Классический эпос и русский роман (от Гоголя до Пастернака) / Пер. с англ. Е.Г. Рабинович. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха. 2005. (Griffiths F.T., Rabinowitz S.J. Epic and the Russian Novel from Gogol to Pasternak. Saint Petersburg, 2005. — In Russ.)
- [Долбиллов 2012] — *Долбиллов М.Д.* «Поляк» в имперском политическом лексиконе // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: В 2 т. / Ред. А. Миллер, Д. Сдвижков, И. Ширле. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 304—333.
- (Dolbilov M.D. “Polyak” v imperskom politicheskom leksikone // “Ponyatiya o Rossii”: K istoricheskoy semantike imperskogo perioda: In 2 vols. / Ed. by A. Miller, D. Sdvizhkov, I. Shierle. Vol. 2. Moscow, 2012. P. 304—333.)
- [Долбиллов, Миллер 2006] — *Западные окраины Российской империи* / Ред. М. Долбиллов, А. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
- (Zapadnye okrainy Rossiyskoy imperii / Ed. by M. Dolbilov, A. Miller. Moscow, 2006.)
- [Зорин 2001] — *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла: литература и государственная идеология в России последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
- (Zorin A.L. Kormya dvuglavogo orla: Literatura i gosudarstvennaya ideologiya v Rossii posledney
- trети XVIII — pervoy trети XIX veka. Moscow, 2001.)
- [Зорин 2020] — *Зорин А.Л.* Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
- (Zorin A.L. Zhizn’ L’va Tolstogo. Opyt prochteniya. Moscow, 2020.)
- [Киселева 1997] — *Киселева Л.Н.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. Вып. 2. М.: ОГИ; Изд-во РГГУ, 1997. С. 279—302.
- (Kiseliyova L.N. Stanovlenie russkoy natsional’noy mifologii v nikolaevskuyu epokhu (susaninskiy siuzhet) // Lotmanovskiy sbornik. Iss. 2. Moscow, 1997. P. 279—302.)
- [Майорова 2012] — *Майорова О.* Война и миф: память о победе над Наполеоном в годы Польского восстания (1863—1864) // Новое литературное обозрение. 2012. № 118. С. 178—205.
- (Maierova O. Voyna i mif: pamyat’ o pobede and Napoleonom v gody Pol’skogo vosstaniya (1863—1864) // Novoe literaturnoe obozrenie. 2012. No. 118. P. 178—205.)
- [Миллер 2000] — *Миллер А.И.* «Украинский вопрос» в политике властей и российском общественном мнении (вторая половина XIX века). СПб.: Алетейя. 2000.
- (Miller A.I. “Ukrainskiy vopros” v politike vlastey i rossiyskom obshchestvennom mnenii (vtoraya polovina XIX veka). Saint Petersburg, 2000.)

- [Орвин 2006] — *Орвин Д.* Искусство и мысль Л.Н. Толстого. 1847—1880 / Пер. с англ. и ред. А.Г. Гродецкой. СПб.: Академический проект, 2006.
- (*Orwin D.* Tolstoy's Art and Thought, 1847—1880. Saint Petersburg, 2006. — In Russ.)
- [Соболев 2012] — *Соболев Л.И.* Путеводитель по книге Л.Н. Толстого «Война и мир»: В 2 ч. М.: Изд-во Московского ун-та. 2012.
- (*Sobolev L.I.* Putevoditel' po knige L.N. Tolstogo "Voyna i mir": In 2 pts. Moscow, 2012.)
- [Тартаковский 1996] — *Тартаковский А.Г.* Неразгаданный Барклай: Легенды и быль 1812 года. М.: Археографический центр, 1996.
- (*Tartakovsky A.G.* Nerazgadanny Barklay: Legendy i byl' 1812 goda. Moscow, 1996.)
- [Фойер 2002] — *Фойер К.Б.* Генезис «Войны и мира» / Пер. с англ. Т. Бузиной. СПб.: Академический проект, 2002.
- (*Feuer K.B.* Tolstoy and the Genesis of "War and Peace". Saint Petersburg, 2002. — In Russ.)
- [Hollingsworth 2001] — *Hollingsworth C.* Poetics of the Hive: The Insect Metaphor in Literature. Iowa City: University of Iowa Press, 2001.
- [Kolsto 2005] — *Kolsto P.* Power as Burden: The Slavophile Concept of the State and Lev Tolstoy // *The Russian Review*. 2005. Vol. 64. No. 4. P. 559—574.
- [Maiorova 2010] — *Maiorova O.* From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855—1870. Madison: Wisconsin University Press, 2010.
- [Miller 2010] — *Miller R.F.* Tolstoy's Peaceable Kingdom // *Anniversary Essays on Tolstoy* / Ed. by D. Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 52—76.
- [Newlin 2012] — *Newlin T.* "Swarm Life" and the Biology of War and Peace // *Slavic Review*. 2012. Vol. 71. No. 2. P. 359—384.
- [Rabow-Edling 2007] — *Rabow-Edling S.* Slavophile Thought and the Politics of Cultural Nationalism. New York: State University of New York Press, 2007.
- [Renner 2003] — *Renner A.* Defining a Russian Nation: Mikhail Katkov and the "Invention" of National Politics // *Slavonic and East European Review*. 2003. Vol. 81. No. 4. P. 659—682.
- [Steiner 2011] — *Steiner L.* For Humanity's Sake: The Bildungsroman in Russian Culture. Toronto; Buffalo; London: Toronto University Press, 2011.
- [Steiner 2021] — *Steiner L.* Tolstoy's Philosophy of Life // *The Palgrave Handbook of Russian Thought*. Palgrave Macmillan / Ed. by M.F. Bykova, M.N. Forster, L. Steiner. 2021. P. 575—596.